

«Былое и думы» Алексея Борового. Мистерия Жизни в зеркале воспоминаний романтика-анархиста

Пётр Рябов

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) есть малоисследованный фонд Алексея Алексеевича Борового. А в нем, среди прочих дел, исключительное место занимают мемуары Борового «Моя жизнь. Воспоминания». О них мне бы и хотелось поведать.

Сегодня имя автора и героя мемуаров почти наверняка ничего не скажет читателю. А между тем он отнюдь не заслуживает забвения, ибо без него будет неполной и картина русской культуры «Серебряного века», и история отечественной философской жизни, и история общественного движения.

Алексей Алексеевич Боровой (1875-1935) родился в дворянской семье в Москве. Окончив в 1898 году юридический факультет Московского Университета, Алексей (страстно увлеченный тогда идеями марксизма) был оставлен при Университете для научных занятий, как человек, проявивший большие способности в области политической экономии и истории права. Боровой вполне мог бы назвать себя, подобно Николаю Бердяеву, «русским романтиком начала XX века»¹. *Он успевал все: преподавал политическую экономию, географию и право в Университете, в различных училищах и на курсах, учился в Консерватории (обладая незаурядными музыкальными способностями, он воспринимал весь мир, как музыку и потом жалел, что не стал профессиональным исполнителем), общался с учеными, литераторами, музыкантами, интересовался социалистическими учениями, увлекался поэзией символизма и философией Ницше, пропагандировал идеи революционного синдикализма, сотрудничал со многими изданиями, страстно влюблялся и горячо дружил. Боровой отмечал в себе «неисчерпаемый запас жизнерадостности – легкомыслия, которое мне позволило примирять непримиримое, пить из всех и всяческих чаш»². Общительность, душевная восприимчивость, развитая интуиция, музыкальная и ораторская одаренность, бунтарство,*

¹ Бердяев Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. Москва, 1991, с.15.

² РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 168, С. 9 (оборот).

духовный максимализм и жизнелюбие – делали его классическим романтиком и (используя выражение Э.Фромма), «биофильной натурой».

Поездка в 1903-1905 годах за границу, куда молодой приват-доцент был направлен для продолжения научных занятий и сбора материала для диссертации, оказалась решающим событием в его жизни. В Париже, осенью 1904 года, он осознал себя анархистом. Не будет преувеличением сказать, что Алексей Боровой стал единственным анархистом в России после Кропоткина, предложившим, - пусть незаконченную и не свободную от противоречий - новую мировоззренческую парадигму анархизма, его самокритику и радикальное обновление (на принципах, близких штирнерианству, ницшеанству, бергсонизму и на возвращении ко многим полузабытым прозрениям Бакунина). Он – философ, попытавшийся дать либертарный ответ на вызовы катастрофического XX века, крупнейший мыслитель постклассического анархизма в России. Как признавался в черновых набросках к своим воспоминаниям сам Боровой: «Анархизм, открывшийся для меня в Париже, был³ не только безупречным логически, законченным ответом на все мои вопросы социально-философского характера, но и моральной программой моей жизни. Анархизм для меня был музыкой мозга и сердца. В свете его разрешились все мои сомнения, ничто принципиальное в нем не рождало во мне возражений. Я чувствовал, что я родился анархистом – с отвращением и естественным протестом против всякого организованного насилия»⁴. Боровой пришел к анархизму самостоятельно, без влияния внешних факторов и посторонних лиц, логикой внутреннего развития своей личности, и в зрелом возрасте.

Возвращение в Россию новообращенного анархиста совпало с Революцией 1905-1907 годов и быстро сделало известным приват-доцента юридического факультета Московского университета (которого профессора называли «любимцем факультета», а отчет Охранного Отделения именовал «любимцем московского студенчества»). Публичная лекция Борового «Общественные идеалы современного человечества. Либерализм. Социализм. Анархизм», произнесенная в Историческом Музее, стала первым легальным возвещением анархического мировоззрения в России и прославила его имя. Он много выступал, преподавал, пользовался колоссальной популярностью, возглавил анархическое книгоиздательство «Логос», участвовал в журнале «Перевал», опубликовал диссертационное исследование в двух томах «История личной свободы во Франции», «Популярный курс политической экономии», «Революционное мирозерцание», сотни статей, переводов и рецензий. Боровой раскрылся в эти бурные годы, как поистине энциклопедическая личность: юрист, экономист, литературовед, философ, музыкант, библиофил, историк, педагог, оратор, переводчик, психолог, издатель (я называю лишь основные сферы его кипучей деятельности). Среди его друзей и знакомых были Вера Фигнер, Максимилиан Волошин, Иван Ильин, Николай Кареев, Максим Ковалевский, Александр Скрябин, Густав Шпет, Борис Вышеславцев...

Алексей Алексеевич Боровой оказался по-своему уникальной фигурой. Индивидуалист, но – социалист; юрист, но – анархист; ученый, но – антисциентист; мыслитель, но – поэт мысли; активный анархист, но – совершенно беспартийный человек; поис-

³ (Столь же – зачеркнуто – П.Р.)

⁴ РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 168, С.8 (оборот).

тине – «белая ворона»! Человек науки, чья жизнь на протяжении многих лет (1894-1911, 1917-1922) была неразрывно связана с Московским Университетом – и вместе с тем враг «вылощенного академизма», педантства, «цеховой учености», радикал среди консерваторов и либералов, и не думающий скрывать своего радикализма. Он – нонконформист, индивидуалист, но отнюдь не угрюмый и высокомерный отшельник – всем интересовался, «жил во все стороны», во многом участвовал, со многими дружил (для него были важны в людях не столько «измы», сколько мироощущения), - и все же всегда оставался самим собой (в философии, в науке, в общественной деятельности), не растворяясь до конца ни в чем, выражая себя во всем. Склонность к синтезу и творческому самопроявлению, открытость миру и обостренное чувство своей и чужой личности, выдавали в нем истого романтика, томящегося по бесконечному и стремящегося воплотить все возможное.

Трудно, наверное, указать в России той эпохи (щедрой на талантливых и разносторонних людей) еще одного человека, который одновременно почитал бы Маркса, Ницше, Штирнера, Бакунина и Бергсона, самозабвенно увлекался музыкой Скрябина и поэзией Андрея Белого, писал научные труды по истории, праву и экономике и журналистскую публицистику, обращался к широкой публике с революционной проповедью, музицировал в Консерватории и все же органически сочетал все эти, по видимости столь различные, занятия в едином творческом мироощущении. Интуитивист, прошедший суровую школу науки (как Ницше некогда прошел послушание филологии) и осознавший как ее величие, так и ее пределы, эрудит, психолог, поэт (не пишущий стихи, но претворяющий в поэзию саму свою жизнь и мысль, живущий поэтически), рефлексирующий исследователь, виртуозно владеющий логикой, но ставивший творческий экстаз выше логики и рефлексии, духовный революционер – он искал вовне, во всех сферах, формах и проявлениях жизни, творчества – выражения того внутреннего содержания, которое томилось и кипело в его неистовой душе. Совершив многое, он был убежден в том, что главного он сделать не успел: несозданное и несовершенное им важнее, чем реализованное и воплощенное, как Дух всегда важнее всех своих объективаций.

Анархист на университетской кафедре? Такое почти невозможно! Или возможно – но только в короткие периоды Революции.

На долю Алексея Борового выпали – что вполне предсказуемо для анархиста – гонения: и при самодержавии, и при большевистском режиме. Два года (1911-1913) он был вынужден провести в эмиграции во Франции, где он читал лекции, водил экскурсии по Парижу (и даже издал книгу об этом любимом городе) и изучал философию Бергсона и практику революционного синдикализма. После периода активности, совпавшего с Великой Российской Революцией (1917-1922 годы), когда Боровой был профессором Московского Университета (одним из самых любимых студентами) и ВХУТЕМАСа, возглавлял анархические издания «Жизнь» и «Клич», был одним из руководителей Московской Федерации работников умственного труда, Московского союза идейной пропаганды анархизма (именно к нему летом 1918 года приехал Нестор Махно, восторженно отзывающийся о нем в своих мемуарах) и выпустил книги «Анархизм» и «Личность и общество в анархистском мировоззрении», - он был отстранен новой властью от преподавания. В 1920-ые годы он работает экономистом и сосредотачивается на деятельности в музее П.А.Кропоткина (Боровой был заме-

стителем Веры Фигнер – председателя Всероссийского Общественного Комитета по увековечиванию памяти П.А.Кропоткина), а также руководит работой анархо-синдикалистского издательства «Голос труда». В 1929 году наступил закономерный финал: Алексей Алексеевич Боровой как «неразоружившийся анархист» был арестован и сослан в Вятку, а затем во Владимир, где успел умереть своей смертью в 1935 году. На закате лет этому романтическому эпикурейцу пришлось поневоле стать стоиком – сохраняя до конца человеческое достоинство и верность своему обреченному делу. Эти последние годы жизни были годами интенсивной рефлексии и создания многих философских рукописей, доселе не увидевших читателя. (Пресловутая Сова Минервы в данном случае вылетела даже не в сумерки, а в самую глухую полночь века!) Среди них: незавершенная книга, написанная в форме диалогов, «Разговоры о живом и мертвом» (для представителя «философии жизни» Борового эта антитеза является основополагающей, а форма диалога – личностной и передающей полифонию Жизни), и завершенное (365 машинописных страниц в окончательной версии), исследование о философии Ф.М.Достоевского.

Из сказанного можно оценить как масштаб этой фигуры, так и причины, по которым она была сознательно вычеркнута из истории. Имя Борового сначала специально замалчивалось в СССР, а затем вспоминать о нем стало уже некому и незачем. Ведь такой анархист, самим своим существованием развенчивающий стереотипные представления об «анархизме» как синониме хаоса и бандитизма, – фигура неудобная для любой власти, способная смутить официальные инстанции своим бунтарством. Впрочем, сейчас о Боровом все же порой упоминают в специальных

⁵ Приведем некоторые из последних переизданий работ Борового: Боровой А.А. Анархизм. Москва, 2007; Боровой А. Бакунин. Москва, 1994; Боровой А.А. Власть. (Публикация С.Ф. Ударцева). // Анархия и Власть. Сборник. Москва, 1992; Боровой А.А. Общественные идеалы современного человечества. Либерализм. Социализм. Анархизм. (отрывки). // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX – начала XX века. Избранные произведения. Москва, 1994. Из последних работ о Боровом упомянем посвященную ему часть монографии автора этих строк (Рябов П.В. Философия классического анархизма (проблема личности). Москва, 2007), работы С.Ф.Ударцева, И.В.Аладышкина, В.В.Кривенького, а также статьи: Цовма М.А. Алексей Боровой и Петр Кропоткин. // Труды Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А.Кропоткина. Выпуск 3. П.А.Кропоткин и революционное движение. Москва, 2001; Рябов П.В. Михаил Бакунин и Алексей Боровой: созвучие и резонанс. // Прямухинские чтения 2007 года. Тверь, 2008; небольшой сборник: Венок Алексею Боровому. Москва, 2001, и, наконец, книгу Фрэнсис Нэтеркотт. Философская встреча. Бергсон в России (1907-1917). Москва, 2008, (в ней А.А.Боровому посвящено несколько страниц). Над монографической биографией Алексея Алексеевича Борового я в настоящее время работаю. Трудность этой работы довольно специфична: если, чаще всего, исследователь, изучая наследие широко известного мыслителя, сталкивается с наличием труднопреодолимых «штампов» вокруг его имени и с отсутствием новых источников, то в данном случае, ситуация зеркально противоположная: отсутствие общих работ о Боровом и неизвестность его среди широкой публики и даже большинства философов сочетается с «избыточностью» и труднообозримостью материалов в его фонде в РГАЛИ, открытым для исследователей в начале 1990-ых годов.

⁶ До настоящего времени, насколько мне известно, фрагменты из этих воспоминаний публиковались лишь дважды: С.В.Шумихиным, опубликовавшим значительные отрывки из мемуаров Борового, посвященные его пребыванию в эмиграции во Франции в 1911-1913 годах (А.Боровой. «Париж был и остается значительнейшим фактом моей биографии» // Диаспора: новые материалы. Том 6. Санкт-Петербург, 2004, сс.7-85) и автором данной публикации, включившим небольшие фрагменты в свою статью (См.: Рябов П.В. Михаил Бакунин и Алексей Боровой: созвучие и резонанс. // Прямухинские чтения 2007 года. Тверь, 2008, сс.64-70).

исторических исследованиях, «щедро» посвящая ему сноски и примечания, а также небольшие статьи в словарях – но и не более того^{5*}.

А теперь от общих сведений о Боровом обратимся непосредственно к характеристике его воспоминаний «Моя жизнь» (Дела 162-172, Фонд 1023, Опись 1, РГАЛИ)^{6*}. Алексей Боровой умер, успев аккуратно и тщательно собрать и разложить по сотням папок и альбомов свой архив (включая письма от пятисот адресатов) и завершив переписывать своим каллиграфическим почерком мемуары. В них он раскрылся, если не полностью, то максимально. По зрелости мысли, богатству содержания, исповедальной искренности и полноте – это главный, итоговый труд, достойно венчающий его жизнь.

Книга «Моя жизнь. Воспоминания» представляет собой 1830 страниц рукописного белового текста и охватывает период с 1875 по 1917 годы. На обложке стоит загадочная надпись: «Том 1» (значит, задумывалось и продолжение?)^{7*}, а на странице 5 того же дела имеется Посвящение: «Памяти Пушкина, Достоевского, Бакунина, Скрябина кому обязан я более всех оформлением моего мирозерцания» (этот, на первый взгляд, странный набор имен немало говорит об авторе мемуаров). Текст мемуаров часто написан на оборотных сторонах заполненных официальных бланков бюрократических учреждений города Владимира (ирония судьбы и печать времени!). Нередко на обороте беловиков сохранились черновые наброски воспоминаний. В окончательном тексте книги почти нет исправлений, но по правке в черновиках становится понятно – в каком направлении Алексей Алексеевич работал над текстом. Он искал все более точных слов, ярких эпитетов, идя по пути сокращения (а не добавления) текста – стремясь добиться его предельной лаконичности и выразительности.

Когда писались воспоминания, и что послужило им источником? На делах в РГАЛИ и в архивной описи значатся даты: 1929-1934 годы (то есть годы ссылки автора). Однако эти даты нуждаются в уточнениях. По мнению С.В.Шумихина (публикатора отрывков мемуаров Борового): «по крайней мере время начала создания мемуаров надо отодвинуть к более ранним московским годам. Возможно, что в ссылке Боровой лишь отделял и переписывал набело захваченный из Москвы черновик»^{8*}. С этим нельзя не согласиться: огромное число цитат из различных книг (которых не могло быть с анархистом в ссылке) и множество деталей и подробностей прошлого (которые, при всей великолепной памяти, Алексей Алексеевич просто не мог удерживать, не прибегая к дневниковым записям) свидетельствуют о том, что работать над мемуарами он начал раньше 1929 года и продолжал до самой своей смерти в ноябре 1935 года, о чем говорят упоминания в книге событий, датируемых 1934-1935 годами. В текст мемуаров вошли – в виде органичных вставок – написанные им ранее стихотворения и статьи (юношеские любовные стихи, статьи «Жизнь и наука», «Воскресение!» (о смерти Толстого), статья о либерализме и др.).

Рассчитывал ли Алексей Алексеевич на публикацию книги в СССР (а, значит, на ее прохождение через цензуру), и, если да, как это отразилось на содержании текста? Или же он обращался в своем последнем сочинении к потомкам, через головы совре-

⁷ РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 162, С.1.

⁸ См.: А.Боровой. «Париж был и остается значительнейшим фактом моей биографии». Публикация С.В.Шумихина. // Диаспора: новые материалы. Том 6. Санкт-Петербург, 2004, С.16.

менников? Ответить на эти вопросы однозначно я не могу. В тексте есть признаки того, что Боровой надеялся на скорую публикацию: прямые обращения к читателю-современнику и некоторые «уступки» цензуре⁹. Так, называя героев своей книги по именам, Боровой обозначал инициалами многих из тех, кто оказался в эмиграции после 1917 года или был репрессирован большевистским режимом. Он воздерживался в мемуарах от резкой критики Маркса, Ленина, большевизма, порой даже с умеренным сочувствием отзывался о Ленине (впрочем, в тех моментах, где был с ним согласен, преимущественно цитируя наиболее «анархическую» из ленинских книг «Государство и Революция»). Он сознательно и последовательно прибегал к тактике умолчаний и намеков – но никогда не прибегал ни ко лжи, ни к фальши. Он, говоря его же словами, «умел хранить достоинство и в трагедии»¹⁰. Огромная степень независимости суждений, открытое исповедание анархизма перед лицом гонителей, похвалы многим врагам большевизма, критика (хотя и приглушенная) марксизма, социал-демократии, государственного социализма – трудно поверить, что такое могло быть не только напечатано, но даже написано в СССР за пару лет до 1937 года! Если бы Боровой дожил до 1937-1938 годов и тогда был арестован, то одни «хвалебные» характеристики в его воспоминаниях Г.Шпета, Е.Трубецкого, В.Розанова (или ссылка на «блестящую характеристику», данную последнему Львом Троцким!) – могли дать обильный материал для обвинений. Но здесь мы видим меру возможного компромисса внутри Борового и ту грань, дальше которой он не готов был идти – ни ради публикации своей книги, ни даже ради самосохранения. Написание им своих воспоминаний – поступок в тех условиях мужественный, рискованный, вольнодумный и делающий легальную публикацию их на родине совершенно невозможной.

Для иллюстрации тактики, избранной Боровым в своих мемуарах, сошлюсь на его портрет В.И.Ленина¹¹. В этой характеристике Алексей Алексеевич не лукавит, но по обстоятельствам страшного времени, о многом вынужден умалчивать и, тем не менее, интонационными и лексическими средствами доносит до читателя свое подлинное отношение к Владимиру Ильичу. Ценивший более всего человеческую широту, сердечность, утонченность, свободу, Боровой точно и наблюдательно подмечает в Ленине (которого он не раз видел во время эмигрантских собраний и споров) фанатизм, прагматизм, жесткость, целеустремленность и выдающиеся ораторские способности. Он сумел ярко, выразительно донести до читателя и уникальность, и причины эффективности и человеческую ущербность Ленина, полной мерой воздав ему должное. Вот, что Боровой, например, пишет: «И, наконец, последней чертой его ораторского темперамента была – его беспощадность к идейному противнику. Нащупав слабое место, Ленин обрушивался на него с жестокостью непримиримого врага. Милосердия, сочувствия или оправдания от Ленина ждать было нечего. Бой для Ленина – всегда был смертным боем. На компромиссы он не шел. Личные качества противника, роль его в движении, близость самого Ленина к оппоненту не играли никакой роли в силе и характере ленинского наступления. То, что стояло на пути его понимания – философии

⁹ В «Примерном плане полного собрания сочинений» в 12 томах, составленным Боровым, предусматривалось, что томом IX будут: «Мемуары (не напечат.)» - РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 141, С.1 (оборот).

¹⁰ РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 168, с.291.

¹¹ РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 166, сс.99-106.

диалектического материализма, социальной революции, ее практических методов и т.п., должно было быть сметено. Он не только бил, он убивал. (...) Ленин бил... по враждебному мировоззрению, убеждению, теории. Человек, не как носитель определенного идеала, а как личность, был ему безразличен...»¹².

Весьма двусмысленная характеристика того, кто был объявлен в СССР земным божеством! Тут и зарисовка с натуры, схватывание человека целиком через то, в чем он себя наиболее выражал (в данном случае – столкновение ораторов), и оценка ленинской целеустремленности, напористости, партийности, нетерпимости, установки на эффективность и победу и... бесчеловечности! Под видом внешнего «восхваления» Ленина, Боровой, по существу, развенчивает его, как личность. Он оглядывается на цензуру, но умеет сказать все нужное читателю поверх нее.

Воспоминания Борового являются памятником двум эпохам: эпохе, подробно описанной в них, и той, в которую они создавались (в последнем случае, «от противного», как образец вольномыслия в условиях тотальной несвободы, отблеск философии «Серебряного века» посреди века «железного»). Главные произведения Борового: «История личной свободы во Франции», «Популярный курс политической экономии», «Анархизм», «Разговоры о живом и мертвом» - написаны в спешке, торопливо, порой незавершенны. В этом отношении зрелая, завершенная, продуманная книга «Моя жизнь» отличается от всех остальных: у него было время подумать, не спеша подвести итоги своей жизни и духовной эволюции. Она важна, как ключ к его жизни, к его личности и к его творчеству^{13*}.

Но значение мемуаров Борового не исчерпывается вышесказанным. Являясь автобиографическим размышлением-повествованием и развернутым портретом эпохи, они дают нам редкую возможность: посмотреть на этот исторический период, на сотни людей и событий, - глазами очевидца, как бы «изнутри», из гущи событий, постигнув и почувствовав их в сложном взаимопереплетении судеб, мотивов, страстей, мечтаний и идей. Счастливое и редкое сочетание в личности Борового-мемуариста: прекрасного образования, всесторонней эрудиции, активной общественной позиции, изумительной памяти, яркой самобытности, наблюдательности, тонкого психологизма, внутренней свободы и «беспартийности», широты интересов, общительности, развитой рефлексии, основательности ученого, выразительного поэтического языка, музыкального и ораторского дарования, трудолюбия, невероятной восприимчивости, - делает его воспоминания произведением исключительным по своему богатству, глубине и многообразию. Россия, Франция, Швейцария, Испания, Германия, московские гимназии, жизнь русской эмиграции, политическая борьба,

¹² РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 166, сс.104-105.

¹³ Публикатор отрывков из воспоминаний Борового С.В.Шумихин, констатируя, «что едва ли не треть воспоминаний «Моя жизнь» посвящены сугубо теоретическим рассуждениям», категорически утверждает: «Это обстоятельство может препятствовать полному изданию мемуаров Борового. Важный фактологический материал, портреты деятелей культуры и науки, сочные бытовые зарисовки не смешиваются с теоретической сухью, как вода и масло. Если автор ориентировался на «Былое и Думы» - на мой вкус, большую историческую ценность имеет описанное им «былое». (См.: А.Боровой. «Париж был и остается значительнейшим фактом моей биографии...» Публикация С.В.Шумихина. // Диаспора: новые материалы. Том 6, Санкт-Петербург, 2004, С.9). Это, конечно, «дело вкуса», однако я решительно не могу согласиться с такой оценкой. Мне, напротив, представляется, что размышления Борового органично растворены в ткани повествования и представляют значительную ценность.

Московский Университет, Консерватория, издания и издательства, учебные курсы и училища, литературные, философские, музыкальные и художественные кружки, Религиозно-Философские Собрания, анархистское движение (от анархо-мистиков до толстовцев и анархо-индивидуалистов), марксизм, либерализм, консерватизм, ницшеанство, бергсонизм, рестораны и тюрьмы – все открывается нам в неразрывной слитности благодаря пронизательному взгляду заинтересованного наблюдателя. Профессора университетов соседствуют на страницах мемуаров с музыкальными исполнителями, кухарками, студентами, литераторами, жандармскими офицерами, художниками, революционерами, букинистами, со всеми, с кем жизнь сталкивала мемуариста. Из индивидуальных портретов вырастают портреты коллективные (Париж, Консерватория, Московский Университет, партия кадетов), а из них – грандиозный портрет самой Жизни.

Вот лишь некоторые люди, с которыми судьба свела Алексея Борового и кто попал на страницы его мемуаров: Федор Плевако, Александр Чупров, Максим Ковалевский, Николай Кареев, Владимир Ленин, Жан Жорес, Август Бебель, Алексей Дживилегов, Вера Фигнер, Мария Ермолова, Максимилиан Волошин, Густав Шпет, Иван Ильин, Борис Вышеславцев, Богдан Кистяковский, Василий Ключевский, Павел Новгородцев, Дмитрий Курский, Владимир Поссе, Федор Кокошкин, Михаил Гернет, Сергей Танеев, Александр Скрябин, Зинаида Гиппиус, Евгений Трубецкой... Он дает своим бесчисленным героям (а через них – самой Жизни, главной героине книги) высказаться до конца через их поступки, речи, судьбы, и не спешит с окончательным приговором, похвалой или осуждением, хотя и не скрывает своего отношения к ним. Сотни непохожих друг на друга героев в книге Борового образуют сложную систему взаимовысвечивающих и взаимодополняющих «зеркал», напоминая о мирах Платона и Кьеркегора.

Чтобы лучше осмыслить общий замысел воспоминаний Алексея Алексеевича Борового, напомним, что он был по своей натуре и мироощущению ярчайшим романтиком и представителем «философии жизни». Для него «Жизнь» - стихийная, текучая, всеобъемлющая, творящая, прекрасная и мудрая – высшая тотальность, манящая тайна, окончательный судья и последняя реальность. Ему было присуще ренессансное любование жизнью и эллинское чувство Судьбы (Судьба, как История или Народ, - один из «псевдонимов» и ипостасей «Жизни» в творчестве Борового) с ее трагизмом, иронией, непостижимостью и высшей справедливостью. Личность же человеческая – неразделимая на части сущность, действительнейшая действительность, загадка, отправной и конечный пункт всех вдохновений и рефлексий Борового. Все учения, теории, мысли, принципы вырастают из первичного чувства, из стихийного стремления жизни и служат действию. «Человечность» и «Жизнь» - наиболее интегральные и фундаментальные понятия у Борового (не случайно находил он полное выражение «человечности» - у Пушкина, а творчество созвучного себе Бакунина истолковывал как «антроподицею» (оправдание человека)). «Человечность» и «Жизнь» коррелируют, как предельные и потому неопределимые понятия,

¹⁴ Так, В.Я.Брюсов – «вовне излучал холод». (РГАЛИ, Фонд 1023, Описание 1, Дело 168, С.372). Не находит Боровой «тепла» и в Д.С.Мережковском, и в кадетях. А вот воплощением «пламени» для него, как и для Александра Блока, был Михаил Бакунин. Обостренное «гераклитовское» чувство огня, как основы Жизни, не оставляло Алексея Алексеевича.

как целостнейшие из всех целостностей. Оценивая людей, произведения, народы, культуры, Боровой использует музыкальные и поэтические образы: «подъем-спад», «тепло-холод» - уловимые интуитивно и ощутимые музыкально-художественным образом^{14*}.

Очень важна для Борового оппозиция: «Живое – Мертвое». «Живое» для него ассоциируется с самобытностью, искренностью, творчеством, бунтарством, жизнелюбием, пафосом, праздничностью, а «мертвое» со срединностью, мещанством, пессимизмом, пассивностью, неискренностью, искусственностью, безликостью, инерцией, оппортунизмом любого рода.

Еще одна важнейшая «категория» в мироощущении эстета и жизнелюба Борового – категория «праздника». (Он подробно рассказывает в мемуарах о праздниках своего детства, о праздниках в милой его сердцу Франции.) Для него «праздник»: этически отождествляется с добром и радостью, онтологически – с полнотой и творчеством жизни, религиозно – с сакральным и неземным (в противовес профанной обыденности представая взлетом, подъемом), эстетически – с прекрасным, возвышенным, одухотворенным (в противовес мещанству, пошлости, объективирующим, нивелирующим и порабащающим дух), аксиологически – с высшей ценностью, как выход за пределы, экстаз, коммуникация с миром и другими людьми. Обоготворяя и принимая Жизнь (вспоминается блоковское: «Узнаю тебя, жизнь, принимаю...»), Боровой открыт ее проявлениям во всей ее полноте: от шедевров музыки и философской мысли до песенок в парижских кафе, от утонченных рассуждений до нераздумывающего чувства. Он отдается жизни целиком – в музыке, в Революции, в любви, в мысли. Рефлексия и осмысление приходили потом, оформляя пережитый опыт. Для него не существует «великого» и «ничтожного», но все имеет ценность, тайну и значение, что порождено «Жизнью», несет на себе печать ее творчества. Боровой может писать о «низком» (то есть почитаемым за низкое), откровенно и не «низменно» (сохраняя такт, целомудрие и понятие об утонченном и высоком), но и не «воротя нос» от простого и грубоватого, не кичась своей «элитарностью», находя во всем сущем своеобразие, смысл и прелесть. Лишь безликость, пошлость и скучное мещанство для него невыносимы и отвратительны^{15*}.

Для Алексея Алексеевича в высшей степени характерна во-влеченность, сочувствие всему яркому, выразительному, живому и личному, невыделение (по сути – антидекартовское) «Я» и «мира», но переживание и рассмотрение «Я в мире» и «мира через меня». И этот интуитивист, тайновидец, поэт, музыкант, друг и влюбленный – умел иступленно сливаться со стихией, растворять себя, дружить, служить Эросу, сочувствовать, открываться ликующе – миру и людям. (И, вот парадокс! – он же – акцентирует в своем творчестве борьбу человека с природой (а не слияние с ней) и неизбежное трагическое противостояние одинокой личности обществу, вечную «борьбу с культурой за культуру»!). Боровой воспринимал мир, людей, мысли – сначала через переживание, сочувствие. Мысли приходили потом, как «остывшие чувства» (по Новалису), утратившие свою жизнь, энергию и творческий потенциал. Ища повсюду лицо, личность, Боровой невольно гипостазирует, одушевляет

¹⁵ «Наиболее отталкивающим для меня лично в кадетизме было – отсутствие в нем пламени, огня», - признавался он в мемуарах (См.: РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 168, С.211).

даже нечеловеческие объекты (так Париж, Франция, Германия и сама История фигурируют у него как живые существа – субъектные, волящие, сознательные). Повсюду этот идеалист ищет и находит «дух» - живой, целостный, вечно юный, все пронизывающий и все формирующий.

«Пафос» (одно из любимых слов Борового), страсть – то, через что Алексей Алексеевич воспринимал все на свете. Первичны в его духовном опыте: восхищение, удивление, сопереживание, стыд, отвращение, протест. Затем, заряженные энергией страсти, приходили мысли, обобщения, логический анализ, про-яс-нение и узнавание «своего». Свое пылкое юношеское увлечение марксизмом, первую любовь в сфере идей, он прямо называл «религиозной страстью», да и анархизм воспринял, как узнавание давно внятного и целиком созревшего в душе. Он мог бы с полным правом сказать о себе то, что некогда великий Гете сказал недоумевающему кантианцу Шиллеру: «Я вижу идеи!». Боровой также – видел свои идеи, ощущал их воочию, страстно и целиком, переживал их внутри себя.

Основой же личности (подобно Августину и Бергсону) Боровой считал память. (Еще одна причина, почему его лучшей книгой суждено было стать книге воспоминаний). И у него самого была изумительная память – не только на события, цитаты, детали, мысли, книги, людей, но – особенно – на собственные чувства, переживания, впечатления. Память сердца, а не память головы. Он не искажает, не упрощает, он в высшей степени субъективен (а значит, личностен) и искренен. Его память, «напоенная» (по другому его любимому выражению) пафосом – истинна, в кьеркегоровском смысле, как бывает истинна «истинная любовь». Он постигал истину через сердце, как любящий постигает любимого: страстно, целостно, а не позитивистски-аналитически и фактографически.

Эти особенности мироощущения Борового определили специфику построения и жанрового своеобразия его мемуаров. В них он ярко демонстрирует ту аксиому романтизма, что художник лучше и глубже познает мир, чем ученый – особенно мир человеческой души. Чтобы найти себя, романтику надо постоянно изменять себя (но не себе!), отрицать любые роли и авторитеты, выходить из себя (через творческий экстаз), а не носиться с собой – неизменным и самодовольным, не замыкаться в панцире-системе раз и навсегда готовых научных истин.

В числе особенностей мироощущения Борового, в полной мере выразившихся в его мемуарах – радикальный холизм, восприятие мира в неразрывной целостности всех деталей универсума, в их интуитивном художественном схватывании. С этим связана другая романтическая тенденция – постижение универсального не через абстрагирование от единичного и персонального, но через погружение в его глубины. Именно взгляд на мир через свою личность (который позволил в полной мере выразить жанр автобиографии) и через личности сотен людей (посредством их портретов) – наиболее созвучен Боровому. Мыслеобразы позволяют ему увидеть абсолютное через конкретное, благоговейно вслушаться (подобно Блоку или Чюрленису) в симфонию мироздания, ощутив ее ритмы и мелодии. Внешний хаос событий, пестрая мозаика лиц сочетаются в воспоминаниях с внутренней осмысленностью, размышления пронизывают собой описания, мысль звучит сквозь чувство, «былое» неотделимо от «дум». Себя автор показывает через других, а других через себя, весь

мир оказывается лично окрашенным, таинственным, волнующим. Через любую «каплю воды» виден безбрежный «океан» Жизни.

Мемуары ярко демонстрируют как богатство изобразительных средств и виртуозность Борового-литератора, так и широту его личности и единство его различных «ипостасей». Они глубоко диалогичны и полифоничны по сути (множество проблем, участников, героев, позиций – сталкивающихся, переплетающихся, точно музыкальные темы в симфонии) и по используемым жанрам. В жанровом отношении книга включает в себя и элементы художественного произведения (анекдоты, бытовые зарисовки, вставные новеллы и стихотворения), и философские трактаты (рассуждения о различных учениях, проблемах), и поэтические фрагменты (лирические отступления), и исповедальные признания, и публицистические памфлеты (гротескно-саркастические пассажи), и научные вкрапления (обзоры, цитаты, минирецензии), и вдохновенные пейзажные зарисовки. По многоголосице и характерному для романтиков стремлению к синтезу искусств и жанров, «Моя жизнь» напоминает герценовские воспоминания и роман «Русские ночи» В.Ф.Одоевского. Как иначе Боровой мог отразить всеобъемлющее, выходящее из любых берегов, таинство Жизни и проникнуть в загадку человеческой личности?

Для Алексея Борового чувство первично по отношению к мысли, образ и символ первичны по отношению к понятию, личность первична по отношению к обществу. «В одном мгновеньи – видеть вечность. Огромный мир – в зерне песка», – призывал Уильям Блэйк. «Общее» присутствует через частное и личное, обобщение дается через образ и пример. В каждом фрагменте книги содержится все: и анализ, и обобщение, и описание, и образ, и сам автор – подобно тому, как в магическом камне Алефе, описанном Борхесом, отражалась вся Вселенная.

Алексей Алексеевич демонстрирует в мемуарах широту взгляда, способность смотреть с различных сторон на обсуждаемое явление или персону, сочетая научный анализ с поэтической интуицией, стремясь не построить законченную систему или схему, а предельно свободно выразить свое мировосприятие. Холизм – не просто особенность стиля, это ведущий мотив его мировоззрения. В книге незаметна сложная философская система, отсутствуют однозначные термины, но в ней есть устойчивые идиомы, топосы, посредством которых можно добраться до ключевых интегральных мыслеобразов, формирующих мир Борового: «живой - мертвый», «пламенный - холодный», «праздничный - будничной», «человеческое - бесчеловечное», «бунт - мещанство». В конечном счете, эти оппозиции маркируются оппозицией «мое - не мое». Мыслеобразы у Борового – это не «красивости», не риторические изыски искусственного оратора. Они глубоко естественны для поэта-мыслителя, который именно мыслит образами, видит идеи и целостно-органически, чувственно-эстетически, религиозно-мистически постигает единство многообразной жизни. Это его специфический способ философствования и, если он мало кому ныне доступен, разве это означает, что он плох?

Герои мемуаров не становятся лишь «типами», «воплощениями», «функциями» чего-то, что не есть они сами. Напротив, каждый остается именно самим собой – и через проникновение в их личности Боровому удается постигнуть нечто общее. Весь мир для анархиста-романтика оказывается набором шифров-символов – «окон в бесконечное». Так, Алексей Боровой описывает посещение им французских тюрем,

что входило в его обязанности как ученого-юриста во время его первой заграничной поездки¹⁶. *Одни тюрьмы – старые, грязные, холодные. Другие – новые, благоустроенные, светлые, цивилизованные, образцовые, с тщательно продуманной полной изоляцией заключенных. И Борового по-разному, но в равной мере ужасают и те, и другие. И это описание тюрем незаметно перерастает в запоминающийся символ: старое феодальное угнетение человека сменяется новым «цивилизованным» бездушным государством. В обоих случаях – по-разному, но в одинаковой степени, – подавляется и калечится личность, отрицается человеческое достоинство: «Радость от тюремного прогресса, как ее не обосновывай, зловещая радость»¹⁷. Здесь наглядно и зримо ставятся вопросы о «прогрессе», о соотношении личности и государства. Хотя при этом вроде бы ничего абстрактного – чистое описание, никаких рассуждений – конкретные образы. Но эти образы глубоко задевают душу читателя. Примеры, приводимые Боровым, не «доказывают», а показывают.*

Портреты в воспоминаниях персоналиста Борового составляют не менее половины текста книги. При этом ни один портрет не похож на другой, не «стилизован», и почти ни один не одномерен, не однозначен (менее всего эти характеристики напоминают бухгалтерию достоинств и недостатков). Личность – не функция, не клеточка общества или природы, не схема, не абстракция, а – символ, центр, тайна мироздания. Описывая людей, встречавшихся на его пути, автор избегает Сциллы партийного наклеивания одноцветных ярлычков и Харибды объективистского равнодушия. Он верит: только личность может постигнуть другую личность, только страсть может опознать страсть. Личность в ее своеобразии, универсальности, противоречивости, недетерминированности и неповторимости, – центр внимания мемуариста. Через нее ему открывается человеческое в человеке.

Сквозь пестрый хаос изложения, череду портретов и событий проступают, редко называемые, но неустанно обдумываемые, философские вопросы, над которыми размышлял Алексей Алексеевич в воспоминаниях. Эти вопросы взаимосвязаны: природа творчества как фундаментального самопроявления личности (факторы, ему мешающие и помогающие: талант, слава, трудолюбие, образование, взаимоотношения человека с другими людьми), связь и противостояние личности с обществом, разум и интуиция, мещанство и бунтарство как модусы человеческого существования, возможное и действительное, ирония и власть Судьбы.

Более всего волнует Борового тайна творчества, его зарождение, угасание, психология, соотношение в нем разумного знания и иррационального вдохновения, творческого акта и объективированного продукта (в этом он сродни Николаю Бердяеву). Его волнует творчество у «великих» и у заурядных людей – то, как разные люди выражают (или не выражают) себя в нем. Ему важно увидеть у каждого человека то, что романтики XIX века называли «жизнью жизни» или «душой души» сокрытой в людях под защитной оболочкой их ролей, характеров, принципов и функций. Рассмотрение человека Боровым – всегда предельно субъективная попытка проникнуть в его психологию, уяснить его мотивы и намерения (а не навесить «объективный» ярлычок с позиций готовой «окончательной истины»), постичь движущие импульсы

¹⁶ См.: РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 166, сс.50-55.

¹⁷ РГАЛИ, Фонд 1023, Опись 1, Дело 160, с.55.

личности, изгибы и порывы человеческой души, понятой изнутри. «Души тебе не исчерпать, - так глубока ее мера», - знал уже Гераклит Эфесский. Говоря о различных людях, Боровой всегда пишет о самом «их» в «них»: о живописи художников, о речах ораторов и политиков, об одежде щеголей, о книгах профессоров, о музыке композиторов. Но через эти объективации личности он хочет, «расколдовав» и «развеществив» их, убрав и пройдя внешнее, добраться до их сокрытой идеальной сути. Творчество, Личность и Жизнь взаимосоотносительны в мирозерцании Борового: творчество - главное проявление Жизни и ключ к тайне Личности. Алексей Алексеевич в воспоминаниях выступает как понимающий наблюдатель: не судья, не хроникер, не прокурор и не адвокат. Понимание есть для него фундаментальный онтологический акт, связанный с сопереживанием, ибо Жизнь глубже и шире, чем любые «оценки».

Далекий от назидательности моралиста, партийной узости, равнодушия и мертворожденных абстракций, Боровой всегда мыслит страстно, свободно, образно и конкретно. При всей его склонности к артистическим импровизациям, в нем все же было нечто от ученого: методичность, добросовестность изложения, обилие ссылок, склонность к анализу и рефлексии, экскурсы в различные теории и любовь к ярким цитатам, высокая оценка им трудолюбия, эрудиции и «продуктивности» в других людях. Сотни ученых, философов, публицистов, писателей, музыкантов встречаются на страницах его мемуаров – и их портреты непременно сопровождаются кратким описанием их книг, статей, диссертаций, симфоний, важнейших фактов биографии (с лаконичным, но всегда компетентным анализом), а также разбором основной литературы о них. Обсуждая какую-нибудь проблему, он дает обзор основных точек зрения и аргументов за и против, приводит тысячи фактов, анекдотов (лишь изредка в мемуарах говоря о чем-нибудь: «не помню»).

О себе самом – своем внутреннем мире, переживаниях, исканиях, муках и радостях – Алексей Боровой непосредственно и прямо пишет не так много. Подавляющая часть мемуаров посвящена его размышлениям на различные темы, портретным зарисовкам, рассказам о различных случаях. Но во всем этом ощущается неповторимая интонация автора. Он не выпячивает и не прячет себя. Сама эпоха, вереница людей, событий – органично и ненавязчиво – выстраивается вокруг автора, высвечивая и отражая его тонкую и глубокую личность. Мемуарист не просто описал ряд событий своей жизни, своих поступков, встреч, мыслей и переживаний. Он поистине открыл читателю свой мир, мир своего окружения, читаемых им писателей, слушаемых им музыкантов, тех мест и идейных течений, с которыми его жизнь была связана множеством нитей, сумел показать – как он учился, страдал, любил, боролся, проповедовал, как и о чем думал, что чувствовал.

Читая мемуары Борового, мы узнаем о нем в чем-то меньше, в чем-то больше того, что сам Алексей Алексеевич знал о себе. Меньше – ибо сокровенные глубины личности остаются всегда скрытыми, недоступными постороннему взору. Больше – ибо большее видится на расстоянии, и нам извне видно многое из того, что Боровой недорассказал, недодумал, в чем не отдавал себе отчета. Алексей Алексеевич на пороге смерти предельно искренен и откровенен, умалчивая лишь об именах тех людей, которых он не желал скомпрометировать (пусть спустя многие десятилетия), и специально оговаривая себе единственное право – почти ничего не писать о своих

любовных связях, игравших огромную роль в его жизни (поскольку здесь – «слова бессильны», здесь «все – музыка»). Обо всем он повествует, находя нужную тональность, правильные слова и образы: не возвеличивая себя и не принижая (задача – почти невозможная для мемуаристов). Как видно из мемуаров, Алексей Боровой – далеко не икона. В нем было и изрядное честолюбие, и легкомыслие (в семейных делах, особенно): честолюбие – как почти неизбежное следствие его энтузиазма, пыла и «приподнятости» оратора и лектора, привыкшего к восторгам аудитории, а легкомыслие – как следствие его жизнерадостной, влюбчивой, увлекающейся, не признающей оков и рамок природы. И при всем том, подсмеиваясь над самим собой, он возвышается над собой же. По словам Паскаля: «человек бесконечно превосходит человека».

Глубокий эффект романтической иронии возникает именно вследствие этого совмещения двух перспектив, встречи на очной ставке на страницах воспоминаний «двух Боровых»: героя, юного, восторженного, непосредственного и – автора, зрелого, ностальгирующего, опытного. Один не знает, что его ждет, второй знает, что его уже не ждет ничего и потому – слегка завидует первому и слегка жалеет его, незнающего. Благодаря этому мир «Моей жизни» предстает глубоким и многомерным, а читатель волей-неволей приближается к осознанию трагической иронии Жизни. Романтик, бунтарь и максималист, доживший до шестидесяти лет? Это что-то неприличное, противоестественное, как противоестественно было бы предположить, что «ищущий бури» парусник Лермонтова, все бури пережил и, переплыв океан, прибил к берегу. (Да еще, если он связан по рукам и ногам, лишен возможности действовать, заброшен в ссылку.) Что ему остается? Только ностальгировать о днях молодости.

Если, по замечанию Мартина Хайдеггера, всякий метафизический вопрос всегда одновременно возвращает нас к вопрошающему и ставит под вопрос его самого, то всякая характеристика других людей в воспоминаниях Борового, – это отчасти и самохарактеристика мемуариста. Не раз на страницах воспоминаний Боровой демонстрирует самоанализ – столь же глубокий, сколь честный, столь же неповторимо-индивидуальный, сколь и универсально-типический. Нередко в своих оценках он решительно восстает против общепринятых стереотипов и академических штампов, своеобразно оценивая признанных кумиров. (Очень характерна в этом отношении суровая оценка им личности Льва Толстого.) Он позволяет себе «свое суждение иметь» обо всем. Основополагающий критерий всех оценок: «мое – не мое» в результате проясняется.

Для Борового волнующей загадкой являются не только личности других людей, но и своя собственная. Может быть, он и воспоминания-то написал, чтобы лучше разобраться в себе. Так Алексей Алексеевич воспринял как «откровение» (не свыше, но изнутри) анархизм. Глава мемуаров «Как я стал анархистом» (ее следовало бы назвать в духе мольеровского Журдена: «Как я узнал о том, что всегда был анархистом») – попытка разобраться, как и почему случилось это главное событие в жизни Борового, что подготовило кульминационный момент на его пути самопознания, какие внутренние и внешние процессы привели к этому (но загадка от того не исчезает). Ведь анархизм для Алексея Алексеевича – не только и не столько социальная программа, сколько – всеобъемлющее адогматическое мировоззрение, исповедание своего жизненного *credo*. Анархизм разом открылся ему, как осознание своего собственного

«Я». Алексей Боровой «обратился» в анархизм, подобно тому, как Августин обратился в христианство: внутреннее долгое созревание, подспудная работа души, и затем – единый толчок, ослепительный миг прозрения. (У Августина это был известный «случай в саду», и у Борового – откровение анархизма пришло на скамейке Люксембургского сада в Париже. Описания обоих «случаев» нельзя читать без волнения). Так в мемуарах начинает звучать язык религиозного мистика (который – в духе времени – стыдится слова «мистицизм»): «обращение», «просветление», «преображение». Он зафиксировал и задним числом осмыслил жизненные, идейные и психологические «предпосылки» своего обращения в анархизм (как Августин в «Исповеди» описал в провиденциальной перспективе предпосылки своего обращения в христианство).

И отношение Алексея Алексеевича Борового к революции – созвучно блоковскому призыву «слушать музыку революции». Он воспринимал революцию не столько «внешне» и «головой», сколько «сердцем» и «изнутри»: как праздник, музыку, стихию. Он ликовал по поводу этого праздника, отдавался этой музыке, был частью этой стихии, ожидая от революции преобразования всей жизни. Подобно его любимому герою – Бакунину, он в полной мере оживал, воодушевлялся и действовал в краткие революционные периоды, а в периоды реакции, изоляции, гонений, стойко сносил удары судьбы и предавался рефлексии. Этот романтик, выше всего ценивший в людях «пламенное» начало, сам «горел», как светоч, далеко рассыпая искры бунтарства и вольнодумства, воспламеняя других своей свободной от догматов верой. Великодушный к идейным оппонентам, Боровой был абсолютно нетерпим – к несвободе, подавлению человека, равнодушию, конформизму, фальши, воинствующему мещанству – оттого-то либералы ненавистнее ему, чем даже монархисты и консерваторы.

Ум часто не поспевал у Алексея Алексеевича за «сердцем», вступая с ним в конфликты. Так, вопреки декларируемому им осуждению «мистики», Боровой был человеком с богатым и разнообразным мистическим опытом (мистически он воспринимал и природу, и анархизм, и музыку, и любовь). Вопреки провозглашаемому им «материализму» и индивидуалистическому номинализму, он, не хуже реалистов-платоников, видел идеи и улавливал интуитивно такие метафизические сущности, как «народный характер», «Судьба», «атмосфера эпохи», «душа Парижа». Этот волюнтарист и страстный защитник прав личности от посягательств со стороны общества, тяготел к пантеистическому упоению Жизнью, Историей, которые, по его ощущению, действуют через нас и всегда правы. Целостный, как личность, и не стремившийся к созданию законченной «системы», Боровой, в качестве мыслителя, был весьма противоречив (впрочем, для него противоречия – верный признак жизненности мысли). При всей его склонности к рефлексии и продумыванию собственного мироощущения, чувства и духовный опыт Борового всегда были глубже, богаче, изначальнонее – любых «принципов» и «измов» (которые не всегда поспевали за первыми). Он многое не додумал, не досказал в себе самом, открыв это через свои воспоминания читателю (нередкая герменевтическая ситуация!).

Можно говорить об особом образном мире, поэтике языка Борового. Его речь необычайно интонационно разнообразна и тонка, изобилует специфически нагруженными знаками препинания и идиомами. В тексте воспоминаний (хотя и написанным по правилам новой орфографии) много колоритных старых слов: «зала»,

«благер», «диллетант», «улички», «сертук», «галстух» - от которых веет ароматом ушедшей эпохи. Язык, стиль, музыка речи, неповторимые интонации характеризуют этого философа-поэта больше, чем «идеи». К числу специфических слов, особенно любимых Боровым и выражающих его мироощущение, относятся такие, например, как: «мещанство», «пафос», «творческий экстаз», «напоенный», «приподнятый», «даровитый», «продуктивный», «праздник», «знаменитость», «подъем». Их регулярные повторы и сочетания помогают читателю войти в мир авторской поэтики. Боровой любил расставлять тире (как бы разбивая музыку собственного текста на интервалы, обозначая паузы, подъемы и ударения). Зная за собой склонность к восторженно-экзальтированному изложению, он повсюду ставит иронические «кавычки» - прививки от «фразы» и позерства (обозначая ими все многозначные, оценочные и «громкие» слова – как бы говоря сам себе этим по-базаровски: «об одном прошу тебя, любезный Алексей Алексеевич, - не говори красиво!») и почти избегая (из тех же соображений?) восклицательных знаков. Зато в тексте мемуаров – множество многоточий, выражающих драматическую неожиданность в ходе изложения, паузу перед резким переломом мысли или возражением. Поставлю и я своеобразное «многоточие» на этом месте повествования... в ожидании того времени, когда воспоминания Алексея Алексеевича Борового будут, наконец, целиком напечатаны, и терпеливый читатель сможет судить о них самостоятельно – а не по этому беглому пересказу и по моим восторгам по поводу «сладости халвы», которой читатель еще не вкусил. Я осознаю как трудность, так и насущную необходимость решения этой благородной задачи.

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Пётр Рябов
«Былое и думы» Алексея Борового. Мистерия Жизни в зеркале воспоминаний
романтика-анархиста

Скопировано 2 июня 2015 года с <https://vk.com/anarcholibrary>

ru.theanarchistlibrary.org